



обычный коробок спичек. Я нашел его неожиданно, отодвинув ящик стола. Стол этот в отцовском доме забыли. Когда переехали жить на станцию из села, старый стол поставили в угол чулана. Там он, покрытый тряпьем, связками старых журналов и всякой всячиной, отслужившей свой век, простоял много лет. Копаясь в тронутым червоточинной выдвижном ящике, я обнаружил жестянку похожих на гвоздики патефонных иголок, обнаружил значок с надписью «Ворошиловский стрелок», футляр отцовских карманных часов. В столе лежали пакет порошков «от желудка», картонный елочный заяц, изношенный рубль довоенного образца, самодельное шило, моточек пропитанной варом дратвы... И этот коробок спичек.

Обычный коробок. Обычный, да не совсем! На желтой морщинистой этикетке, в том месте, где бывает рисунок, наискосок стояли три строчки, очень знакомые строчки:

Наше дело правое!

Враг будет разбит!

Победа будет за нами!

Спички 41-го года! Я достал одну из коробки. Зажжется? Зажглась.

И вот уже все в доме — отец, мать, сестра — разглядывают находку. Всем интересно. Но только мама может припомнить... Я гляжу на нее: неужели не вспомнит? Вспомнила!

— Это ж с той осени...

Не ждите рассказа о пущенном под откос поезде, партизанском костре или даже о перекуре во фронтовом блиндаже. Спичками из коробки не поджигали бикфордов шнур, и вообще ничего из ряда вон выходящего не стоит за находкой в столе.

Той осенью по дороге из Воронежа на Тамбов через наше село Орлово двигалась большая пехотная часть. Вспоминая сейчас бесконечную серую ленту людей, идущих под осенним дождем, невольно ежусь от холода. Грязь, непролазная черноземная хлябь, и по ней гуськом, заткнув за пояс полы мокрых шинелей, движутся люди. Усталые. Молчаливые. Куда? Почему? Мальчишкам заботы и горе взрослых понятны не в полную меру. Мы бегали на большак менять на морковку и лежалые груши пилотки, ремни, звездочки, пряжки и были довольны, что в школу ходить не надо — в ней разместили больных солдат.

Не помню уж, сколько дней двигалось войско. Но только поздняя слякоть сменилась вдруг зимним морозом. Помню стук в окна: «Хозяйка, пустите хоть в сенцы». — «Все занято, идите дальше!» — отвечал вместо матери пожилой лейтенант. И он говорил правду. В избе и в сенцах на соломе вповалку один к одному лежали люди. Плакала на руках у матери маленькая сестренка. Нечем было дышать от взопревших у печки мокрых портянок, шинелей и гимнастерок. Но уморенные люди были рады теплу и месту. Все спали.

Голод тоже был спутником отходившего войска. Помню, как перед сном солдаты делили на столе аккуратно порезанный хлеб. «Кому?» — кричал веснушчатый младший сержант. Солдат, отвернувшийся к стенке, быстро ему отвечал: «Сухову... Тимофееву...»

Утром мать намыла чугуна картошки и чугуна свеклы — покормить постояльцев, и послала меня добыть огоньку. Это было простое дело: выходишь на улицу, смотришь, из чьей трубы идет дым, — туда и бежишь с железной баночкой за углями.

— Ты куда? — спросил лейтенант, увидев меня на крыльце.

Я объяснил. Лейтенант полез в кирзовую сумку и достал спички:

— На, отдай матери.

(До сих пор сохранился на коричневом ребрышке коробка след от спички, которой в то утро была растоплена печь.)

Чугун картошки и свеклы солдаты опорожнили в один момент. Мать стояла у печи и говорила: «Ешьте, ешьте, я еще сварю, ешьте...»

Коробок спичек с той осени сохранился, конечно, случайно. Его положили в укромное место, как некую непозволительную роскошь, как драгоценный запас огня на какой-нибудь случай. И вот мы держим его в руках. Тридцать четыре года... Все мы взволнованы. После очередной передачи о приключениях в Берлине Исаева — Штирлица мы собрались на кухне около печки, но в этот раз не о Штирлице разговор. С удивлением и большой радостью наблюдаю, как много может всколыхнуть в памяти маленькая реликвия. Отец вспоминает. Сестра. Мама говорит так, что я жалею: нет магнитофона записать все, что она говорит. И мне тоже есть что припомнить.

Много сказано о войне. Но, может быть, любопытно услышать, что помнит о ней человек, бывший всего лишь подростком...

Запомнилось окончание и начало войны. Но так же хорошо помню уход отца на войну и возвращение его. Уходил он вместе с односельчанами в жаркий день августа. Километров пять я шел, держась за руку отца,

в гуще людей. Помню, отец оказал: «А теперь возвращайся». Он достал из мешка кусок сахара: «Возвращайся. И помогай матери».

Оглядываясь, я видел, как отец скорым шагом догонял пыливших по дороге дядю Семена, дядю Егора, дядю Сергея, дядю Тараса...

Возвращался отец тоже летом. С проезжавшей мимо полуторки кто-то радостно крикнул: «Встречай батьку!» Я побежал к станции и в поле встретил сильно, как мне показалось тогда, постаревшего отца. На груди у него позванивали медали. За плечами — мешок. В одной руке — старенький чемодан, а в другой — патефон.

На нашей улице, увидев отца, многие бабы заплакали. Я понимал, что это значит, — уходившие вместе с отцом на войну дядя Семен, дядя Егор, дядя Сергей и дядя Тарас не вернулись.

Из гостинцев, какие отец разложил на столе, мне больше всего понравились цветные болгарские карандаши с надписью на коробке «Моливчета» и болгарский же, кустарной работы патефон — фанерный ящик, обтянутый бумагой, напоминавшей обои.

Я побежал в сельскую лавку купить пластинки. Их не было там. Но продавщица, увидев мое отчаяние, порылась на полках и одну разыскала. «Моцарт. Турецкий марш», — прочел я название музыки. На другой стороне тоже был марш, но Бетховена... До позднего вечера в нашей избе гремели два эти марша. Мы с сестрой точили на брусочке патефонные иглы, снова и снова крутили пластинку...

Года два назад на концерте, услышав объявление ведущего: «Моцарт. Турецкий марш», я вздрогнул. Для меня не просто музыкой был этот марш.

Близко войну я не видел. Но она была рядом. Летом и осенью 42-го года горел занятый немцами Воронеж. Фронт был всего в двадцати километрах. Днем над «тем местом» стояла черная пелена дыма, а ночью небо становилось багровым. Было видно, как взлетают ракеты, как повисают и медленно опускаются вниз какие-то необычно яркие огни, были видны красные, желтые и зеленые трассы пуль. Мы с другом стелили постель на полой крыше сарая и не со страхом, а с любопытством наблюдали за этим огненным небом.

Над селом к фронту по многу раз в день низко пролетали штурмовики — тройками, самолетов двенадцать-пятнадцать. Спустя полчаса тем же путем низко, прямо над крышами, они возвращались назад. Иногда их было уже не двенадцать, а девять-десять...

Воздушные бои истребителей. Взрывы случайных бомб. (Осколок одной, упавшей ночью за огородами, врезался в нашу дверь.) Массированные бомбежки железной дороги (от села в пяти километрах), передвижение танков, автомобилей с пушками на прицепе, скопление войск в заповедном лесу — такой была полоса возле фронта. Вспоминая то лето и осень, дивлюсь отсутствию у людей страха. В первые дни войны, когда фронт был у Минска, было куда беспокойнее. Люди вязали узлы, заклеивали окна бумажными полосами, ночью маскировали каждую щель в окнах. Теперь же война была почти у порога, и жизнь, тем не менее, протекала своим чередом — каждое утро пастух Петька Кривой гнал пасти коз, и председатель колхоза Митрофан Иванович сам обходил избы: «Бабы, нынче на молотилку!»

Есть такое понятие: «обстрелянный солдат» и «необстрелянный». Если эти слова понимать шире, то в 42-м году все люди, вся страна, солдаты и женщины, дети и старики были «обстрелянными». Все так или

иначе участвовали в войне, понимали, что скоро она не кончится, что дело очень серьезное и жаловаться на трудности некому. Мать находила все же слова нас подбодрить: «Мы-то в тепле. А как там отец...»

Глядя сейчас на карту, вспоминаю: географию начинал изучать не в школе и не по книжкам. Большая страна узнавалась по сданным и отбитым потом у врага городам. Минск, Смоленск, Киев, Севастополь... В ту осень, когда горел Воронеж, я узнал, что где-то совсем недалеко есть *Сталинград*. Не помню, чтобы кто-нибудь на нашей улице получал газеты, радио тоже не было. И только в разговорах этот город упоминался все чаще и чаще. С легким ранением, но совершенно седой в село мимоходом из госпиталя забежал наш дальний родственник. Он получил ранение под Сталинградом и возвращался опять туда. Помню его слова: «Там ад».

В письмах отца раза два поминалась Волга, и мы догадывались: он тоже там. Мать, зажигая по субботам лампадку, молилась. Мои представления о боге в то время были неясными. На всякий случай мысленно я тоже просил рисованного Спасителя, строго глядевшего из-за лампы, не забыть про отца.

В церкви в нашем селе была пекарня. Отсюда машинами доставляли хлеб фронту. Из колодца у речки Усманки два усатых солдата в больших деревянных чанах возили в пекарню воду. Мы, ребятишки, помогали солдатам управляться с ручным насосом и получали за это в день полбуханки пахучего теплого хлеба.

От солдат-водозовов я впервые услышал, что, возможно, всем, кто живет в селе, придется эвакуироваться. И этот слух подтвердился. 1 сентября не открылась школа. А позже село в какие-нибудь две недели опустело. До этого у нас жили беженцы из Воронежа и Смоленска. Теперь сами мы испытали, как тяжело расставаться с домом. Выселяли нас, правда, всего лишь в соседнее село. Но день, когда клещами закрутили проволоку на дверном запоре, был для меня самым тяжелым за всю войну.

Нам дали лошадь. Помню возок со скарбом. Наверху сидят сестры (старшей — девять годов, младшей — три). Мама с братишкой на руках пытается втиснуть в поклажу оцинкованный тазик и решето. Сзади к телеге привязали козу. Старшему сыну надо было править этим возком.

Местом нашего назначения было село «Паркоммуна». (Официально — «Парижская коммуна», а совсем просто — «Парижа».) С благодарностью вспоминаю хозяйку избы тетю Катю (стыдно, забыл фамилию), приютившую нашу ораву. Всем нам — хозяйке с семьей и ее постояльцам — в одной-единственной комнате было тесно. Спали на печке и рядом на полу. Полыню глумили блох. По субботам топили баню. Из одного большого чугуна ели толченую картошку, запивая ее чуть подсоленным квасом. И ждали писем. Ах, как ждали в те годы писем!

Тетя Катя получала их аккуратно. Вслед за поклонами: «А еще привет куме Даше... а еще привет куме Вере» было и к нам участие: «А еще привет «выкуированным». Живите дружнее». Одно из радостных воспоминаний о тех временах: жили и правда сердечно, сплоченно, помогали друг другу, делились всем, чем могли.

О доме, однако, я думал все время. От «Паркоммуны» до родного села было всего восемь верст. И, конечно, трудно было не соблазниться глянуть: а что там сейчас, зимой?

Придя в село, я поразился тишине и безлюдью. Почти во всех домах были заложены окна, в кирпичных стенах низко, у самой земли, проби-

ты бойницы, от дома к дому прорыты траншеи. Теперь хорошо понимаешь: в селе была подготовлена линия обороны на случай, если бы фронт у Воронежа не устоял.

Хотелось взглянуть на наш домишко. Но я не дошел до него. Из хаты на большаке вышел военный: куда это мальчик идет и откуда? Выслушав меня, немолодой уже капитан (таджик или узбек) задумчиво похлопал рукавицей об рукавицу и поманил за собой в дом. Сидевшему возле печки солдату он что-то сказал. Тот поставил на стол котелок щей, нарезал большими ломтями хлеба. Пока я ел, капитан молча разглядывал мою шапку и варежки, потом полез в стаявший на лавке мешок, достал из него завернутый в бумажку желтоватый мягкий комочек какой-то еды и протянул мне: «Это понравится. Ешь». То была сушеная дыня. Второй раз это лакомство я попробовал двадцать два года спустя в Самарканде и, конечно, сразу же вспомнил доброго капитана. Капитан сказал мне тогда зимой: «Ходить в село пока запрещается. Возвращайся. Матери можешь сказать: скоро домой!»

Теперь я думаю, капитан говорил со мной так потому, что знал хорошие новости. Новости эти шли из Сталинграда. Капитану уже было известно, «кто там кого», и он поделился с мальчишкой радостью.

Назад, в «Паркоммуну», по снежной дороге я не шел, а летел. И хотя новость моя — «скоро домой!» — была туманна и непонятна, мама сразу же побежала во двор, где тетя Катя колола дрова. Потом вдвоем они пошли к соседке. Потом мама побежала на другой конец села к тете Поле, жившей рядом с нами в Орлове. А дней через десять утром кто-то нетерпеливо постучал к нам в окно: «Немца выбили из Воронежа!» В тот же час мы с матерью нагрузили салазки дровами и — скорее, скорее в Орлово!

Наш домишко для обороны не приглянулся, все уцелело в нем. Мы протопили печку. И к вечеру на тех же салазках привезли двух сестер и братишку... Это было 25 января 1943 года — еще даже не середина войны.

Все самое дорогое в воспоминаниях связано с именем матери. С расстояния в тридцать пять лет особенно ясно видишь, какая ноша легла ей на плечи. Общие на всех взрослых военные тяготы, но, кроме того, — четверо ребятишек! (Старшему было одиннадцать.) И, по сложившимся обстоятельствам, ни карточек, ни пайков. Одеть детей, накормить, научить, уберечь от болезней... Какую великую силу духа надо было иметь в те годы женщине-матери, чтобы не впасть в отчаяние, не растеряться, в письмах на фронт не обронить тревожного слова.

Вспоминаю мамини письма к отцу. Она их писала печатными буквами, и на письмо уходила обычно целая ночь. Худые вести на фронт в те времена не шли. Мы сообщали отцу, сколько дает коза молока, кто пришел раненный, какие отметки в школе... По письмам выходило: живем мы сносно. Да и самим нам казалось: сносно живем — в тепле, одеты, обуты, не голодаем. И только теперь, понимая цену всему, знаешь, какими суровыми были эти уроки жизни для матери и для тех, кто в войну только-только узнавал жизнь.

Огонь добывали либо бегая с баночкой за углями туда, где печь уже затопили, либо с помощью кремня и обломка напильника. Освещалась изба «коптилкой». В нее наливали бензин, а чтобы не вспыхнул, почему-то бросали щепотку соли. Не больше щепотки — соль была драгоценностью: 100 рублей за стакан. Мыла не знали. Одежду стирали золой и речным илом. Сама одежда... На ногах, я помню, носил сшитые матерью из

солдатской шинели бурки и клеенные из автомобильной резины бахилы. Рубашка была сшита из оконной занавески, а штаны — из солдатской бязи, окрашенной ветками чернокоренника и ольховой корой.

Кормились в основном с огорода. Картошка, огурцы и свекла были нашим спасением. С хлебом же было так. Из колхоза зерно под метелку отправляли для фронта. Нам доставались лишь оброненные при уборке колосья. Целый день, не разгибаясь, собираешь колосья в мешок, сушишь, бережно растираешь в ладонях. Зерно потом веяли и мололи на самодельной мельнице — «терке». Я убежден: тот, кто держал в руках лопать таким вот образом добытого хлеба (часто с примесью лебеды, свеклы, желудей), имеет верную точку отсчета в определении разного рода жизненных ценностей.

Тепло в доме доставалось тоже большим трудом, по нынешним представлениям, просто каторжным трудом. Пять километров до леса полем, пять — лесом (чтобы найти сухостойный дубок или сосну). Таким образом, десять — в один конец и десять — обратно с тяжелой ношей. Чтобы не слишком болело плечо, жердину или вязанку дров обертывали травяною подушкой. И все равно: скинешь у дома ношу — к плечу нельзя прикоснуться. И это была обычная забота тринадцатилетних мальчишек. Однако не единственная забота. Маме приходилось работать на поле. И хотя дома руки ее удивительным образом до всего доходили и все успевали, нам с сестрой доставалась немалая часть забот: с весны до осени ухаживать за огородом (от него целиком зависело наше существование), готовить сено козе, добывать топливо, носить воду, варить еду, собирать колосья, молотить зерно, нянчить маленьких. И делалось это все помимо учебы в школе, помимо домашних уроков, помимо того, что нас, школьников, водили на колхозное поле (пололи просо, убирали свеклу, молотили подсолнух). Так война диктовала законы жизни и для детей.

Может странным кому-нибудь показаться, но я ничуть не сетую на судьбу, вспоминая эти четыре года. Прокручивая сейчас назад ленту уже более чем сорокалетней жизни, взвешивая, где, когда и чему научился, без колебания говорю: главная школа жизни приходится на эти годы.

Суровые, требовательные годы совпали для нас, «военных мальчишек», с возрастными законами воспитания человека. Глубоко верю: уроки мужества, труд и трудности сейчас для подростков также необходимы. Их надо сознательно культивировать (в семье, в лагере, в школе) подобно тому, как физкультурой мы восполняем отсутствие естественного физического труда. В нужное время, в нужных дозах, с оправданной степенью риска обязательно надо учить человека тому, что жизнь от него непременно потребует.

Возможен вопрос: «Закалка, трудности... А детство? Во имя грядущих лет не лишится ли человек детства?» Опыт жизни говорит: нет! Конечно, были в войну ситуации (и немало их было!), когда подросток ставил под ноги ящик, рядом со взрослыми точил на станке снаряды, известно: мальчишки участвовали в партизанских боях. Тут все проходило по счету взрослого человека, и сама жизнь обрывалась (все было!) в тринадцать лет.

Но, вспоминая свое тоже нелегкое детство, я все же вижу его. Оно было! Было со всеми свойственными этому возрасту радостями. Хватало времени на забавы, на всякие выдумки, игры. Те же хождения в лес за дровами... Конечно, несладкое дело — подняться с постели в четыре утра, нелегка была ноша по пути к дому. Но было кое-что и другое. В лесу от-

крывался мальчишкам огромный таинственный мир. Этим миром ватага из пяти-шести человек пользовалась в полную меру фантазии, любопытства и предприимчивости.

И была еще в нашем владении речка. Купали лошадей, доставали раков из нор, в половодье катались на льдинах (за это перепадали нам подзатыльники), ловили рыбу. На зимний Николин день дрались «на кулачки» — стенка на стенку по правилам — с мальчишками соседней Болдиновки. (Традиция, иссякшая только после войны.) Из песни слова не выкинешь, познакомились близко мы и с оружием. (Находки в прифронтовом лесу.) Стреляли из автомата, из винтовки, в логу взрывали гранаты и шашки тола... И удивляюсь сейчас: никто из нас не утонул, не упал с дерева, не подорвался, опасно не обморозился, не отбился от рук.

И не скажу, что росли мы дичками. Ходили в школу. И много, поразительно много читали. Книги, конечно, были случайные. Но если говорить о КПД их работы, он был огромным. Читали с жадностью! За хорошей книжкой всегда была очередь. И было заведено: прочел — расскажи! Так мы менялись книжками и тем, что узнали из книжек. И бывало еще: читали вслух, по очереди. Так, помню, мы проглотили «Приключения Гулливера», «Как закалялась сталь», «Человек-амфибия», «Айвенго», «Дерсу Узала». Если б в то время кто-нибудь нам сказал: через десять-пятнадцать лет можно будет дома сидеть у ящика с экраном и видеть, что происходит за тысячу километров, мы бы ни за что не поверили. Теперь, наблюдая мальчишек при передаче «Клуба кинопутешествий», я завидую им, но в это же время с благодарностью вспоминаю сидения у «коптилки». Они нам что-то оставили в душах, эти зимние вечера у «коптилки»!

Что еще прорастало из детства? Думаю, наблюдательность, желание все испробовать, всему научиться. В те времена нельзя было ждать, что нужную, необходимую вещь кто-нибудь в дом принесет и житейское дело кто-то исполнит. За все брались сами. Учились у взрослых и друг у друга, самолюбие подгоняло: Петька может, а я почему же?

Не бог весть, какими сложными были наши дела по хозяйству. И все же. Вспоминаю, что мы умели. Мы — это пять одногодков и одноклассников с одной улицы: Петька Беляев, Володька Смольянов, Васька Миронов, Ваня Немчин и я. Мы умели косить, починить валенки, вставить в ведро дно, почистить дымоход в печке, заклеить бахилы, умели наладить пилу, наточить косу, подправить крышу, сделать лестницу, грабли, сплести лукошко из хвороста, намесить глину для штукатурки, навьючить воз сена, смолоть зерно, остричь овцу, почистить колодец, нагнать на кадку лопнувший обруч. Чернилами по обойной бумаге писали плакаты для школы и сельсовета. В колхозе мы знали, как надо управиться с молотилкой. Научились ходить за сохой в огороде. И в конце концов догадались сделать тележку с колесами от плужка, облегчившую наши походы в лес за дровами... Такова несложная грамота жизни, которую надо было освоить.

И если уж все вспоминать, то надо вспомнить и балалайку... Апрель, 1945 год. На просохшей проталине около дома маленький хоровод. Не хоровод даже, а так — собралась ребятня, три старухи сидят на завалинке, пришедший с фронта без ноги парень, ну и, конечно, девушки, ровесники тех ребят, что ушли воевать. Веселья не было. Грызли семечки. «Под сухую» пели частушки. («Под сухую» — это значит без музыки: не было ни гармошки, ни балалайки.)

— Господи, неужели нельзя добыть какую-нибудь завалающую балалайку! Ребятишки, ну отняли бы у болдиновских...

Скажи это другой кто-нибудь, я бы слова мимо ушей пропустил. Но это сказала о н а...

В прошлом году я встретил ее случайно в Воронеже. Поздоровались, поговорили о новостях, вспомнили, кого знали. Она оказала:

— А я вас по телевизору видела. Шумлю своим: это же наш, орловский...

— А помнишь, — говорю, — балалайку?

Нет, она не помнила.

...Тогда, весной, мне вдруг страшно захотелось добыть для нее балалайку. Ну хоть из-под земли, хоть украсть, хоть в самом деле отнять у болдиновских. Я выбрал самый тернистый путь: решил сделать.

Опустим недельную муку необычной работы... Однажды вечером я пришел к хорооводу, робко держа за спиной балалайку. Мое творение сработано было из старой фанеры, на струны пошли стальные жилки из проводов, лады на ручке были из медной проволоки. Краски, кроме как акварельной, я не нашел. А в общем, все было, как надо. Да иначе и быть не могло — так много стараний и какого-то незнакомого прежде чувства вложил мальчишка в эту работу.

Сам я играть не умел и передал балалайку сидевшему на скамейке инвалиду-фронтовику. Тот оглядел «инструмент», побренчал для пробы, подтянул струны. И — чудо-юдо — балалайка моя заиграла. Заиграла!

Первой в круг с озорною частушкой вырвалась о н а. И пошла пляска под балалайку.

— Ты сделал?!

Я не успел опомниться, как она, разгоряченная пляской, схватила мою голову двумя руками и звучно при всех поцеловала. Это был щедрый, ничему не обязывающий поцелуй взрослого человека — награда мальчишке.

А мальчишке было тогда пятнадцать. Мальчишка, не помня себя, выбрался из толпы и побежал к речке. Там он стоял, прислонившись горячей щекой к стволу ивы, и не понимал, что с ним происходит. Теперь-то ясно: у той самой ивы кончилось детство. Детство... Оно все-таки было у нас, мальчишек военных лет. Оглядываясь назад, я вижу под хмурым небом этот светлый ручеек жизни — детство. И наклоняюсь к нему напиться.

1975 г.

ОТЦОВСКИЙ СУД

Три года из блокнота в блокнот я переписывал пометку: «В деревне Каробатово Пермской области живет лесник-охотник. На втором году войны убил в лесу сына-дезертира. Повидать непременно».

Оказавшись в Пермской области, я стал разыскивать Каробатово. Надо было лететь самолетом, потом идти маленьким речным пароходом, ехать попутным лесовозным грузовиком и потом километра четыре пешком по топкому лесу.

Я увидел деревню осенним вечером. Пять огней светилось в лесу. Оказалось потом: пять домов всего-то в деревне. Постучался в крайний домишко, окруженный высокими черными елями. Забрехала в темноте собака. Покашливая, кто-то стал спускаться скрипучей лестницей с верхней пристройки.

— Федор Васильевич Орлов тут проживает?

— Тут не тут — заходи. Гостю рады будем.

Керосиновая лампа осветила бревенчатые стены с пучками травы, связками лука и сушеных грибов. На низких окнах — цветы в березовых туесах. Четыре кошки играют на полу со старым валенком. Из-за дощатой крашеной перегородки вышла благообразная старушка, сказала «здравствуйте» и опять принялась греметь ухватами около печки.

Хозяин гостю не удивился. Достал с печи пару теплых портянок из войлока. Пока я менял обувь, хозяин принес на стол чугунок горячей картошки и тарелку с грибами. Голова у хозяина, когда ходит, почти упирается в потолок. А когда сел на низкую лавку — горбатая тень заняла почти всю стену, где висят рамки, по-деревенски набитые фотографиями.

— Дети?

— Дети... — вздыхает старик и начинает закуривать.

Решаю о сыне разговора не заводить. Скажет сам — хорошо. Не скажет — поговорим о лесных делах, охоте.

— Дети... Жизнь — как колесо с горы. Кажется, и сам вчера молодой был. А вот уже вялость в ногах получается. Да уж и дети начали стареть... — За вечер я понемногу узнаю стариковскую жизнь. Она началась тут, в пермских лесах. И закончится тоже, наверное, тут — в деревне с пятью дворами, стогами сена и кладбищем за другой крайней избой.

— Я ровесник этому лесу. Ему, по кольцам считать, — за семьдесят. И меня вывезло на половину восьмого десятка. Все думаю, думаю... Лес будет стоять, а человек уходить должен. Бога, я тоже определил, нету. А что же есть?..

В Первую мировую войну старик был разведчиком. Имеет «Геorgia». В последнюю войну делал для фронта лыжи. Вся жизнь — в лесу. Менялись только избы кордонов, а должность была постоянная — лесной обходчик. И потому лес во все стороны хожен и переходен и знаком, «все равно что эта изба». Старик еще исправно стреляет. Поговорив о рябчиках и о глухарях, решаем утром пойти на охоту. Отбираем патроны, выкладываем на видное место все, что следует не забыть, и тушим лампу. В окне проступают черные ветки, около печки ложатся синие пятна лунного света. Глухо брешет за стеной собака.

— Зверь, что ли?

— Может, и зверь. А может, от дури разгавкалась... Медведь, случается, близко подходит...

Долго не засыпаю. Лунный квадрат переходит на печку, потом на стену, где висят застекленные рамки. Смутно различаю лица. Девочка. Парень с велосипедом. Парень в морском картузе. Семья: мать с отцом посредине на табуретках, а сзади стоят пятеро босых ребятишек.

Туманное утро. Стожки за околицей еле-еле угадываются. И деревня у нас за спиной сейчас же исчезает в тумане. Гулко чавкает под сапогами болото. Все продрогло в ожидании зимы. Кое-где на березах еще остались листья. Но чуть заденешь плечом — листья падают и плашмя ложатся на воду, повисают на жухлой болотной траве. Даже на высоких местах под ногами — влажная мякоть листьев. Собака возбуждена. Метнется вперед, опять прибежит, прыгает, пытаясь лизнуть хозяина в щеку.

— Ну, понимаю, понимаю. Рада, что взяли. Беги ищи, ищи...

Собака должна разыскать глухаря и держать лаем на месте, пока охотники подойдут. Нам не везет. Собака надолго пропадет, и лай не

слышно. Раза два, кажется, был голос, но пока продираемся зарослями рябины, хвощей и лабазника, собака выбегает навстречу и виновато крутит хвостом. Мало-помалу интерес к глухарям стал пропадать. Вымокшие и усталые, решаем зажечь костер, обсушиться.

Старик, однако, не стал раздеваться. Покурив и подержав над огнем морщинистые ладони, сказал:

— Я маленько тут похожу...

Полтора часа его не было. Я начал думать: не случилось ли чего? Уже приготовился подать сигнал выстрелом, как подбежала, отряхиваясь, собака. Следом за ней вышел старик.

— А где же добыча, Федор Василич?

С минуту старик отогревал руки. Прислушался к стуку дятла.

— У меня тут сын похоронен... Старший.

Дятел садится почти над самым костром. Мелкие крошки из-под его клюва падают в дым.

— Старший сын... могила в первый же год в траве потерялась. А березы там, в гущине, я помнил. Теперь и березы что-то не разыскал. Туман в глазах, память как решето...

Я сказал, что знаю историю с сыном от человека из Каробатово, который теперь в Москве.

— А, это Егор, значит... Да, мы с ним много тут ходили... И до Москвы, значит, дошло... Двадцать три года хожу с этой ношей. С кем повздорил чуть-чуть, сразу: «А ты сына убил». Глотаю комок. Убил... Да. С собакой иногда говорю. Ходим, ходим вдвоем, начну ей рассказывать... Умная тварь, все понимает... Двадцать три года камень вот тут...

Сына в сорок втором из деревни проводили вместе с пятью ровесниками. Деревня была поболее, чем теперь, — восемнадцать дворов. Ребята уходили не очень грустные. Плакали матери. Из мужиков один Федор Орлов провожал новобранцев. Большого разговора в дороге не было. Федор сказал тогда ребятам-охотникам: «Глядите там. Живем один раз, но какая жизнь, если немец до Камы пройдет. Держитесь!»

Ребята, видно, сразу попали в бой. На двух летом пришли похоронные. Двое прислали письма из госпиталя. От Ивана почему-то не было слухов. В войну, когда человек «без вести», у семьи всегда имелась надежда. Федор Орлов любил сына и успокаивал мать: «Иван не пропадет без вести...»

И вести пришли. Пришли с такой стороны, откуда отец никак ожидать не мог. Сначала бабенки возле колодца, а потом и напарник, столяр из соседней деревни, сказал в открытую: «Иван в лесу скрывается, дезертир». Федор Орлов сначала стал на дыбы: «Пристрелю, кто будет такую позорную сплетню пуцать! Не было такого в роду у нас!» Оказалось — не сплетня. Стали пропадать в деревнях куры, ульи, коза пропала, корова не вернулась из леса. И все это — вдовье. Баба, у которой козу увели, пришла к Федору с дитем на руках: «Чем кормить буду? Твой увел. Видели его в лесу!» Видели, будто Иван приходил даже домой к матери, когда отец был в обходе. Мать плакала, божилась: «Не приходил, не видела». Отец каждое утро открывал глаза и вздрагивал от первой и постоянной мысли: «Дезертир, трус». Поседевший за полгода лесник Федор Орлов положил однажды в котомку хлеб, взял ружье и ушел в лес.

Раз в пять дней он возвращался в деревню, чтобы взять хлеба, и опять уходил. От простуды или от напряжения сил он захворал. «Ноги еле ношили. Оброс. Худой стал, как мощи». На пятнадцатый день на кладке

через ручей к болотному острову лесник увидел следы. Увидел бересту, ободранную с берез для костра. Посреди острова нашел покрытый корой балаган. Обошел кругом. Тихо. В балагане стояла железная печка. У печки лежали лопата, связка ключей. В углу стояло ведерко с мукой. Отец вышел из балагана, затаился в кустах. Ночью никто не пришел. А утром увидел: между деревьями к балагану идет человек, несет мешок за спиной. «Я б его из тыщи узнал. Высокий, красивый. Крикнул ему: «Иван!.. Что же это такое, Иван?! Видишь, на кого я похожий из-за тебя? Вернись, люди простят. Пойдешь на фронт — люди простят!» Старик сейчас не помнит уже, каким доподлинно был разговор. Помнит: сын бросил мешок и побежал. И тогда отец, не делавший промаха на охоте, поднял ружье...

Он вернулся за деревню на другой день. «Я убил сына». Милиция не поверила, а мать поверила сразу. Упала и начала скрести половицы ногтями: «Убил, убил сына!..» Мать умерла недавно. Три года как умерла. «Я на коленях стоял у постели. Говорила: «Федя, все прощаю тебе». А я по глазам видел — не простила...»

Стучит дятел. То на осине стучит, то опять садится над самым костром. Старик гладит рукой задремавшую возле огня собаку.

— Схоронили его в лесу, вот в той стороне. Из района приезжали доктор и следователь с милиционером. Я их по одному переносил через топкое место. Сын лежал лицом к низу. Ножик у него был, два сухаря в кармане и письмо от какой-то девчонки. Докторша плакала. А милиционер сказал: «Ты, Федор Василич, поступил как Тарас Бульба». Вот и живу Бульбой двадцать три года. Первое время дорогу перед собой не видел. Все хорошо да просто в книжках бывает. А тут живешь и думаешь, думаешь...

— А как остальные ребята?

— Всех вырастил. Поразъехались. В Перми, на Дальнем Востоке... Клавя, младшая, пишет и погостить приезжает. А так — один. Старушку приютил в доме. Вместе доживать будем... За двадцать годов вот первый раз душу излил. Да еще с собакой иногда говорим, говорим... Разве объяснишь собаке, какое это время было и как мне трудно.

Мы потушили костер. Небо расчистилось. Морозило. Мокрые листья на открытых местах взялись ледяной коркой. Даже от собачьего бега в лесу похрустывало.

— Ну что, Майка, зима? Зима, зима на пороге...

Впереди меня тяжело шел высокий, слегка согорбленный человек. До Карбатова было километров десять по топкому лесу.